

КАК ЭТОТ

РАССКАЗ

Юрий ЛУНИН



Родился в 1984 году в городе Партизанске Приморского края.

Прозаик. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького.

Автор книг прозы «Святой день» (2017), «Фиолетовая рыба» (2023). Живёт в деревне Следово Ногинского района. Женат, отец троих детей. Работает больничным клоуном в фонде «Доктор Клоун».

Словом, я подумал, что моя совесть не осудит и не съест меня, если я не пойду прощаться с дядей Толей. Я сказал себе, что просто помяну его добром в день похорон.

Когда приятель позвонил мне и сообщил, что его отчим, дядя Толя, умер, я не испытал особо сильных чувств. Хороший человек, но ведь и прожил для мужика хорошо, что-то к восьмидесяти. Тем более что я его практически не знал — виделись-то всего однажды. Ну да, встреча получилась особенная; может, приятель потому и позвонил, что был её свидетелем. Но особенность эту сегодняшней, трезвый я склонен был делить на своё тогдашнее пьяное в дым состояние, да и вообще очень давно всё это было, лет не десять ли уж тому назад.

Словом, я подумал, что моя совесть не осудит и не съест меня, если я не пойду прощаться с дядей Толей. Я сказал себе, что просто помяну его добром в день похорон.

И вот этот день — обычный пасмурный день октября — настал. И я, сидя дома, всё поглядывал на время. Вот сейчас его начали отпевать; сейчас, скорее всего, уже отпели; гроб наверхняк заколотили прямо в храме и отнесли в катафалк; родня и близкие расселись по машинам; процессия двинулась на кладбище...

И вдруг мне остро, до тесноты в груди захотелось попасть хотя бы на краешек дяди-Толиных проводов. Я прыгнул в машину и поехал.

Хоронили его на маленьком старом кладбище, на котором я прежде ни разу не был. Я даже не знал о его существовании вплоть до звонка приятеля, хотя находилось оно не так уж далеко от моего дома. Всё-таки мы многого не знаем — даже из того, что у нас под носом.

Выйдя из машины, я сразу разглядел за стволами высоких кладбищенских сосен небольшое собрание тёмных спин и двинулся в их сторону по лабиринту из позеленевших оградок.

Приятель тоже сразу меня заметил и, развернувшись ко мне лицом, начал вдруг не по событию оживлённо размахивать руками, то указывая ими куда-то, то складывая их крест-накрест. Я не сразу разгадал за этой странной пантомимой проявление заботы: это он направлял меня, беспокоясь, чтоб я не угодил в тупик. Забота казалась мне преувеличенной, но, ценя энергию, которая так щедро на меня расходуется, я решил следовать указаниям и действительно благополучно преодолел маршрут.

Приятель выступил мне навстречу с раскрытыми объятиями.

— Брат, ты всё-таки пришёл! — сжал он меня крепко, а затем, чуть отдалив от себя, стиснул ладонями мои плечи. — А я уж, по правде сказать, и надеяться перестал... Всё отпевание тебя выглядывал, вот так вот, лебедем, — он смешно вытянул шею, — придёт, не придёт? Так хотелось услышать твой голос! Эх!..

Он отпустил меня лишь потому, что ему понадобилось хорошенько потереть друг о друга ладони. Он всегда делал это, когда его переполняли эмоции, и всегда при этом краснел до сиреневизны. Такая вот любопытная у него особенность.

— Ну, слава Богу, слава Богу!.. — перекрестился он на небо, а затем, ласково посмотрев мне в глаза, произнёс с печально-светлой улыбкой: — Батёк тебя выделял, всегда о тебе справлялся...

Он любил называть отчима этим словом, в котором, с одной стороны, содержалась ирония, ведь настоящий его отец не только был ещё жив, но и никогда не разрывал с сыном добрых отношений, с другой же — сквозило признание, что дядя Толя сумел стать для него по-настоящему родным человеком и что будь это даже его реальный, кровный отец, это был бы достойный отец.

Мы примкнули к группе родных и близких покойного; было нас немного, человек, может быть, десять. Тут я заметил, что гроб (самый простенький, дощатый, в тёмно-бордовой матерчатой обивке с чёрными рюшами) лежит на горке рыжего песка у края отверстой могилы и... и ничего больше не происходит. Все стоят и ждут.

Опередив мой вопрос, приятель полушёпотом изложил суть заминки. Кладбище это давным-давно числится укомплектованным; лишь изредка сюда подкладывают таких вот, как

Я не сразу разгадал за этой странной пантомимой проявление заботы: это он направлял меня, беспокоясь, чтоб я не угодил в тупик. Забота казалась мне преувеличенной, но, ценя энергию, которая так щедро на меня расходуется, я решил следовать указаниям и действительно благополучно преодолел маршрут.

дядя Толя, стариков, которые ещё при жизни застолбили себе места внутри семейных захоронений. Поэтому отдельного штата копщиков здесь нет, работники приезжают с главного городского кладбища. Могилу для дяди Толи они выкопали ещё вчера, а вот сегодня опаздывают уже на сорок минут, хотя обещали быть как штык.

— Двое, блен, из ларца, — горячился приятель. Слово «блин» он произносил именно так — «блен». — Небось, там у себя, на муниципальном, ещё халтурку решили зацепить. Хотят, блен, все деньги мира заработать! На чужом, блен, горе!.. Ну ничего, хрен они у меня теперь пятёру на двоих получают! По полторы на брата — и до свидания за такой сервис... Ох, прости меня, Господи, грешного!.. — с сокрушением прервал он сам себя и образцово, с подчёркнутой задержкой на каждой из четырёх точек, вновь осенил себя крестным знаменем. Затем он опустил лицо и, цыкнув, помотал головой. — Одни, блен, искушения, что ж ты будешь делать!.. — И снова его дыхание защеколало мне ухо: — Вчера ещё, признаться, после всей этой беготни с бумажками пришлось маленько этого самого... поднять стресс... — В голове его появились простодушно-озорные нотки. — Чуешь, наверное, от меня ампула?

— Ну да, — подтвердил я, понимая, что речь идёт об амбре, — есть немного. Да и басок у тебя такой, бархатистый.

— Смы-ыслишь, брат! — ласково потормошил меня приятель за плечо и снова страстно потёр ладони. — А главное, — поднял он указательный палец, — не осуждаешь! В отличие, блен, от некоторых... — Он отстранился от меня на несколько секунд, чтобы вновь перекреститься и за что-то попросить у Бога прощения, и его похмельный басок опять загудел в моём ухе: — Короче, блен, ты, наверное, уже догадался: очередная семейная хрень...

Я уже несколько лет как был в завязке. Алкоголь перестал мне даже сниться. Но я вдруг вспомнил всё. А особенно хорошо — ту далёкую зиму, в продолжение которой мы с этим приятелем были друг для друга главными собутыльниками.

Впрочем, такое слово — «собутыльники» — показалось бы нам тогда обидным. Мы в ту пору допивались до настоящих друзей, а иной раз и до братьев. Житейская неприкаянность и водка стёрли все возможные преграды между нами. Голосом, дрожащим от ощущения красоты и важности момента (нередкого ощущения для пьяных), я цитировал ему Блока, что-нибудь вроде:

*Пусть я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!*

Я уже несколько лет как был в завязке. Алкоголь перестал мне даже сниться. Но я вдруг вспомнил всё. А особенно хорошо — ту далёкую зиму, в продолжение которой мы с этим приятелем были друг для друга главными собутыльниками.

— и глаза приятеля, хоть и было в них нечто кроличье, восхищённо блестя, и мне не надо было рядом другой понимающей души.

Однажды поздний морозный вечер с начинающейся вьюгой застал нас на улице с допиваемым литром водки и ледяным пивом в качестве запивки. Жёлтый полосатик задубел до состояния пластмассы и жестоко ранил небо, так что я, помню, сплёвывал с кровью, оставляя чёрные точки на голубом снегу. Грели только сигареты, и то не по-настоящему. Хотелось в тепло, но только не домой.

Неожиданно наши жёны, хоть они совсем и не знали друг друга, почти синхронно позвонили нам и сказали, что мы можем больше не возвращаться. Лёгкое чувство вины перед ними, до этого служившее нам чем-то вроде маяка — мерцающего огонька человеческой нормальности в безжалостном океане запоя, — моментально уступило место обиде. Ещё бы: нас фактически бросали замерзать на улице. «Подыхайте там под забором, невелика потеря», — фактически говорили нам.

Чего-то подобного мы на самом деле и ждали: теперь можно было с полным правом отдаться на волю волн.

Однако надо было подумать об укрытии: холод становился нестерпимым.

Тогда приятель и предложил навестить его маму. Сказал, что она живёт тут, совсем неподалёку. Я, само собой, согласился.

Вопреки моим ожиданиям, мы не пошли в направлении пятиэтажек, рядом с которыми пьянствовали; приятель взял куда-то через гаражи, в сторону угольных складов и леса.

— Там такое особое местечко... — неопределённо отозвался он на мою попытку уточнить, действительно ли мы идём к его маме и вообще куда-нибудь, где тепло.

Мы взобрались на заснеженный вал, который, я это знал, был промзоновской железной дорогой, и пошли по нему: приятель — впереди, я — следом, — утопая в девственном сугробе, под которым не угадывалось ни шпал, ни рельсов.

Вскоре справа от нас затемнел глухой забор, воздвигнутый из хозяйственных отходов: доски, фанера, металлические листы, рубероид, шифер, даже автобусные двери — всё пошло в ход. Забор этот был не таким уж высоким, однако ничего за ним было не видать: всё смешалось и слилось со свинцовым небом, похожим на один огромный молчаливый взгляд.

Помню, кому-то во мне — кому-то, кто всегда остаётся разумным и трезвым, сколько бы я ни выпил и каких бы глупостей над собой ни учинил, — стало вдруг на мгновение жалко кого-то другого во мне же, неприкаянного, раненого, от самого себя уставшего, — и я от этого незаметно всплакнул. Тоже, в принципе, обычное пьяное дело.

— А теперь мы делаем так... — услышал я приятеля, уже съезжавшего на куртке к забору, подобно солдату с известной

Помню, кому-то во мне — кому-то, кто всегда остаётся разумным и трезвым, сколько бы я ни выпил и каких бы глупостей над собой ни учинил, — стало вдруг на мгновение жалко кого-то другого во мне же, неприкаянного, раненого, от самого себя уставшего, — и я от этого незаметно всплакнул.

картины «Переход Суворова через Альпы». Там, внизу, он просунул руку под какой-то железный лист, на что-то, кажется, надавил, за что-то потянул — и вдруг один из фрагментов сплошного мусорного панно оказался дверью, которая открылась внутрь неизвестного розовеющего пространства.

— Милости прошу, — не без достоинства сказал приятель, жестом швейцара приглашая меня пройти первым.

Пригнувшись, я проник в микроскопический заснеженный дворик. В двух шагах передо мной темнела дощатая постройка. Честно говоря, она была совершенно под стать забору. «Хибара», «халупа», «лачуга» — все эти словечки так и лезли на ум при взгляде на её разнородный фасад. Мне это, скорее, нравилось, но что особенно грело душу — так это квадратное окошко, коричневевшее жилым светом, и дверь — вожденная дверь в тепло.

Приятель позвонил маме по мобильнику и сказал, чтобы она открывала. За дверью послышались шаги...

Дальнейшие полчаса (а может, и весь час) напрочь вылетели из памяти: в тепле меня быстро и сильно догнало выпитое. Из этого времени я запомнил лишь огромную животную радость тепла... Пусть в жизни всё через одно место, пусть я живу её не так, как надо, пусть я должен быть не таким и не здесь, а другим и дома, и пусть впереди неспасительные угрызения совести, посталкогольная тоска и пустота — всё равно: есть эта минута, когда мне тепло, когда добрые люди приняли меня в своём доме, когда чувство вины забыло обо мне, освободив сердце для покоя и благодарности. Короткая и вечная минута. В это время я, видимо, и познакомился с мамой приятеля и дядей Толей.

В помещении, где я снова начинаю себя помнить, — в единственной, может быть, полноценной комнате во всей этой потаённой обители — было темно и тихо, как в шуршащих плёнкой задумчивых кинофильмах о временах до электричества. Лишь над столом, за который меня усадили, я точно помню, теплился неяркий источник света, по-рембрандтовски выбиравший из темноты одни только лица и руки. В железной печурке потрескивал огонь.

Мать и сын всё расхаживали туда-сюда во мраке кухонной части, собирая на стол, о чём-то полушёпотом споря и тут же с объятиями мирясь, и утварь в висячих шкафчиках реагировала на каждый их шаг дружным позвякиванием.

А напротив меня неподвижно сидел, сложив большие ладони на рукояти клюшки, дядя Толя — седоголовый дедок с гладко выбритым лицом, из породы «боровичков», то есть приземистых, плотных, крепко сбитых людей. Он сидел и молча смотрел на меня.

Я не знал, как понимать этот пристальный взгляд, но ничуть не стеснялся им; мне не было от него неловко или тяжело. Напротив, под ним было как-то по-детски спокойно и хорошо:

Пусть в жизни всё через одно место, пусть я живу её не так, как надо, пусть я должен быть не таким и не здесь, а другим и дома, и пусть впереди неспасительные угрызения совести, посталкогольная тоска и пустота — всё равно: есть эта минута, когда мне тепло, когда добрые люди приняли меня в своём доме, когда чувство вины забыло обо мне, освободив сердце для покоя и благодарности. Короткая и вечная минута.

будто ты, совсем маленький, играешь где-нибудь в песочнице или на полу под присмотром немногословного родного деда. Тебе легко вовсе не замечать его внимания, однако само счастье твоей игры наполовину состоит из чувства безопасности, обеспеченного его молчаливым присутствием.

Мне и вообще, повторюсь, было хорошо и спокойно. Я забыл о существовании времени и тихонько поматывал головой от переполнявшего меня блаженства. Глаза сами собой сладко смыкались, я делал глубокие вдохи и на выдохе произносил что-то вроде:

— Ох, какая же красота!.. Как же у вас тут здорово!..

Я медленно потирал руки, словно впервые в жизни ощущая, как резво гуляет по ним кровь, как хорошо одна ладонь чувствует другую.

Вдруг дядя Толя позвал приятелю мать по имени и кивнул ей на меня:

— Ты бы ему чаю горячего поскорей налила. Видишь, продрог на морозе. Чаю надо.

— А мы не только чаю, — проступил из темноты приятель, звучно потирая ладони в своей излюбленной манере.

Мы выпили вдвоём по рюмке. Дядя Толя не стал, махнув рукой и сославшись на таблетки (кажется, болезнь сосудов, которая заставила его пользоваться клюшкой, стала потом и причиной его смерти), и не одобрил, чтобы пила мать.

После выпитого тепло пропитало меня ещё полней. От его избытка мне захотелось спеть. И я затаил что-то из духовных песнопений (я пел тогда в церковном хоре). Кажется, что-то валаамского распева — «С нами Бог» или «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», а может, и то и другое. Помню, удивительно шла эта музыка смиренному убранству занесённой снегом хибары, потрескиванию дров в печи, скупому и оттого особенно ценному свету, сосредоточенным ликам моих слушателей, постукивавшей в окошко метели...

— Чаю, чаю ему ещё горячего подлейте, — прервал дядя Толя тишину, повисшую в комнате после того, как я допел. — И конфеты вон поближе подвиньте. Чтоб ел.

Я понял, что мне обязательно надо выпить ещё чаю и съесть несколько конфет, чтобы удовлетворить дяди-Толину заботу обо мне и тем самым сделать хозяину приятно. И я послушно это выполнил.

— Красота, — кивнул я ему, как бы отчитываясь в том, что действительно чай и конфеты — это то, чего мне не хватало для самого уже полного счастья.

Тут я заметил, что дядя Толя впервые за вечер немного забеспокоился. Он задвигался на стуле и, не сводя с меня взгляда, протянул руку к своей пожилой подруге, чтобы получить её внимание, а потом указал на меня пальцем.

— Ты посмотри, — призвал он её, — он прямо как *этой*... ну... прямо как *он*... — и, обратившись ко мне, дядя Толя сказал: — На *него* похож...

Мне и вообще, повторюсь, было хорошо и спокойно. Я забыл о существовании времени и тихонько поматывал головой от переполнявшего меня блаженства.

Я ничего не понял. А женщина заулыбалась и закивала.

— Правда что, слушай! Точно!

В лёгкой растерянности я посмотрел на приятеля, но и тот уже с улыбкой кивал своим старшим.

— Точно, точно подметил, батёк, — подтвердил он и, бросив на меня для полной уверенности ещё один взгляд, помотал головой, что отражало силу впечатления, произведённого на него дяди-Толиным открытием.

— А на кого похож-то? — спросил я тихо, думая, что сейчас, наверное, узнаю о каком-нибудь их общем знакомом или родственнике — человеке с такими же, как у меня, лохматыми волосами и нестриженной бородой, — и почему-то подозревая, что человека этого уже нет в живых.

Но вместо ответа приятель осторожно, как бы давая запрещённую подсказку, указал глазами на закопчённый потолок.

Только тогда я понял, что дядя Толя увидел во мне черты Христа.

Я невольно взгляделся в его небольшие глаза. Они продолжали смотреть на меня точно так же, как вначале: серьёзно и просто, без всякой сентиментальности. И я вдруг ощутил, как произошедшее, — невзирая на силу моего опьянения, на то, что «мало ли что кому показалось», и на то, что я так и не решил для себя о Христе самого главного, — навеки остаётся во мне...

Мне много раз говорили, что я похож на долговязого грабителя из «Один дома» или просто «на одного знакомого», но ни разу — что я похож на Христа. Я не знаю, почему это сравнение возникло у дяди Толи, не знаю, кем был для него Иисус Христос: Богом, человеком, Богочеловеком, — но знаю точно, что, говоря «как *этот*», он видел во мне что-то самое для себя святое и дорогое. Что-то лучшее. И то, что кто-то *может на меня так смотреть*, поразило меня до глубины души. И поражает до сих пор.

Я, конечно, тут же изобразил из себя красную девицу, прося не смущать меня, такого-сякого-грешного, столь грандиозным сравнением: где *Он*, а где я. Но там, в глубине души, никакого смущения не было. Как, впрочем, и гордости собой. Там свершалось что-то вроде маленькой персональной Пасхи — вот и всё...

Явились наконец «двое из ларца».

— Чем обязаны? — атакующе выступил приятель, очевидно имея в виду спросить, чем вызвано столь безобразное опоздание. — Что, на городское клиентов поважнее подвезли?

Их главный, похожий завитушками кудрей, румянцем и дородностью на фонвизинского Митрофанушку, зарумянился ещё сильнее (большие ноздри расширились, став похожими на чёрные дырочки флейты) и попытался что-то ответить с достоинством, но получилось не очень убедительно. В целом разговор выходил неприятный и совсем неуместный: на горке

Я не знаю, почему это сравнение возникло у дяди Толи, не знаю, кем был для него Иисус Христос: Богом, человеком, Богочеловеком, — но знаю точно, что, говоря «как этот», он видел во мне что-то самое для себя святое и дорогое. Что-то лучшее. И то, что кто-то может на меня так смотреть, поразило меня до глубины души.

песка лежал в ожидании гроб с дядей Толей, и почему-то хотелось, чтобы люди, которые будут его закапывать, делали свою работу без ненависти, хоть сами они, быть может, и не вызывали симпатии.

— Сын, давай не будем, дождались, и слава Богу, — примирительно кивнула мама, сжимая кулачком платок.

Копщики приступили к делу: продели под гробом ремни, намотали их на руки, с очевидным напряжением опустили гроб в могилу.

— Можно прощаться, — сказал Митрофанушка, проводя запястьем по лбу.

Пока мы бросали в яму горсти песка, он наблюдал за нами в молодцеватой и — допускаю, что — намеренно цинической позе: носки сапог один на другом, одна рука уставлена в бок, другая, локоть кверху, упёрлась ладонью в рукоять лопаты; так нередко фотографируются рядом с трофеями охотники, опираясь на свои ружья.

Его же подшефный напарник — длинный, худой, костляво-жилистый и бритый под ноль (натуральный Кощей) — стоял по-другому: ссутулившись и положив подбородок на костяшки кулаков, сжимавших рукоять. Было в этой позе нечто и от старца, и от лагерного заключённого.

Но, как только последняя горсть коснулась крышки гроба, работники тут же вышли из своих разнохарактерных поз и с одинаковой дружной бойкостью заорудовали лопатами, совлекая вырытый вчера песок обратно в яму. Рот матери-земли, поглотивший мёртвого, постепенно закрывался, заделывался старанием двух живых.

Когда могила сровнялась с землёй и начала было переходить в возвышение, внезапно случилось кое-что пугающее: она вдруг разом как-то охнула и просела на целый штык. Будто кто-то всосал в себя землю.

Между собравшимися послышались тихие возгласы недоумения.

— А такое бывает, — распрямился Митрофанушка (ко лбу его прилип лихой спиральный завиток) и в святой простоте рассказал о механике загадочного феномена: — Эти гробы — я их знаю — они очень хлипкие, фанера-«десятка». А земли-то нашвыряли уже под полтонны, не меньше. Вот крышку и — крык! — проломило, и земля от этого вниз ушла. С такими дешёвыми гробами такое часто бывает...

— Так, не надо нам тут пояснять, — остановил его приятель, выставив ладонь. — Ничего ни у кого не проломило. Нормальный у нас гроб.

Но я знал, что, конечно, проломило, — и грудь моя сжалась беспомощной детской болью за дядю Толю, хоть ему, понимал я, уже и всё равно. И я прослезился.

Лопаты продолжали швырять песок. На этот раз работники, видимо стремясь уже поскорее кончить, поймали некий

Когда могила сровнялась с землёй и начала было переходить в возвышение, внезапно случилось кое-что пугающее: она вдруг разом как-то охнула и просела на целый штык. Будто кто-то всосал в себя землю.

устойчивый напористый ритм: хыть-хать, хыть-хыть-хать-хыть-хать, хыть-хыть-хать. Это бессмысленное, мёртвое подобие музыки почему-то завораживало и как-то даже замораживало живые мысли и чувства.

Земля больше не проседала, и вскоре холмик вырос до нужного размера. Кошей, получив от Митрофанушки едва заметный сигнал-кивок, послушно отошёл в сторонку и принял свою прежнюю согбенную позу. Митрофанушка же приступил к «творческой» части работы: постукивая и пошваркивая по могиле лопатой, придал ей аккуратную форму (что-то наподобие торта «Лесная сказка»), затем лопатой же подрубил стебли гвоздик, чтобы поизящнее обложить венчиками фото усопшего, а в завершение воздвиг над всем этим симметричный шалашик из двух искусственных венков, для пушей надёжности подвязав их ленточками к кресту.

Проделанное подействовало на вдову нужным образом: промакивая глаза платком, она приблизилась к сыну, вложила в его ладонь сложенную вчетверо розовую бумажку и легонько погрозила пальцем, чтобы не вздумал штрафовать копщиков за опоздание. Затем, снова обернувшись на созданную Митрофанушкой «красоту», она запрыгала плечами, и какой-то очень худой и высокий, похожий на цаплю пожилой человек быстро подошёл к ней и бережно обнял за плечи.

И тогда мне вдруг стало жалко всех, абсолютно всех. И спастись от этой жалости, от этой раздирающей сердечной щемии можно было только одним — спеть. И я запел тропарь Пасхи. И приятель (мы ведь пели с ним в одном хоре) подхватил.

И тогда мне вдруг стало жалко всех, абсолютно всех. И спастись от этой жалости, от этой раздирающей сердечной щемии можно было только одним — спеть. И я запел тропарь Пасхи.

Ноябрь 2023 г.